Хозяева мира

Идеология Испанской, Британской и Французской империй в XVI-XVIII веках.

Энтони Пэджден

Издательство Йельского университета Нью Хэйвен и Лондон

Глава пятая

Метрополия и колония

Le peuple qui colonise le plus est le premier peuple; s’il ne Test aujourd’hui, il le sera demain.

Пьер Поль Леруа-Больё,

«Колонизация среди современных народов» (1874)

I

Как писал Талейран в 1797 году, «империя – это искусство расположения людей по своим местам», добавив: «это, возможно, первое среди искусств правления». Тем удивительнее, что никто до сих пор не сделал удовлетворительного объяснения того, как это должно делаться.1

Наблюдение Талейрана – показатель того, как изменилось понимание природы европейских колониальных империй по сравнению со временем их появления. Во время шестнадцатого и семнадцатого столетий дискуссии об империи, в большинстве своем, велись в понятиях легитимности, что на практике означало право доминировать с помощью войн и захвата территорий. Завоевание и последующее освоение Америки воспринималось тремя могущественными европейскими империями как единый акт, несущий христианскую веру и сопутствующую ей европейскую цивилизацию в «земли варваров». В обмен на эти ценности империи получали политический и экономический контроль над захваченными землями и проживавшими на них народами.

Талейрана не беспокоили подобные вещи. Для него империя не была источником гордости или духовной славы или полезных ископаемых – он видел, в первую очередь, выгоду в занятии торговлей и сельским хозяйством. Талейран доказывал, что французам следует оставить существующие колонии в Карибском бассейне и создать новые, по подобию английской колонии в Бенгалии: колонии, которые были частично автономными сообществами и которые, что самое главное, не вызывали бы, подобно американским колониям, переселения миллионов людей2. Только действительная политическая независимость способна обеспечить экономическое развитие, которое, в итоге, будет приносить выгоду и колонии, и метрополии. Однако французская монархия всегда

126

127

Metropolis and Colony

придерживалась, скорее, традиций Римской империи, чем Древней Греции. В этом, по мнению Талейрана, заключалась роковая ошибка. В то время как колонии, основанные греками, существовали как независимые государства, став прообразом британских колоний в Индии, и процветали, римляне, чья империя была основана на завоевательных походах, «почти ничего не добились».3

Большинство британских теоретиков-современников Талейрана согласились бы с этим утверждением. К 1657 году английские писатели, следовавшие республиканским убеждениям, уже пришли к соглашению (как недавно доказал Дэвид Эрмитэйдж), что Британская империя – это скорее протекторат, объединявший разные интересы, чем единое государство. Английская монархия, как изобразил ее Джеймс Хэррингтон (позаимствовав описание Цицерона поздней Римской республики) взаимодействовала со своими различными подчиненными территориями не как центр империи (*imperium),* а как протекторат (*patrodnium*).4 Но самым убедительным способом демонстрации разницы между Британской и Испанской и, в какой-то степени, Французской империями является указание Талейрана на различия между империями Древней Греции и Древнего Рима.

Как мы видели в первой главе, все три смысла понятия «империи» (*imperium)* — в качестве ограниченного и независимого или «идеального» управления, в качестве территории, включающей более одного политического сообщества, или же под управлением одной персоны, обладающей абсолютной властью — берут свое начало из существовавших древнеримской, афинской и македонской империй. Римские и греческие империи, однако, обладали разными видами политического устройства. Для горожан Афин, в отличие от древних римлян, основанные колонии всегда являлись достаточно независимыми партнерами метрополии – детьми, как их описывал Адам Смит, но детьми эмансипированными.5 Испания (как правило) и Франция (несколько реже) были истинными последователями Рима. Британская империя, напротив, по свидетельству Эндрю Флетчера в 1704 году, сильно напоминала Ахейский союз,6 политическую модель, которую позже использовали Джеймс Мэдисон и Джеймс Уилсон при создании федеральной структуры США.7 В соответствии с этой моделью, британские колонии были независимыми образованиями, в отличие от французских и испанских территорий, в большинстве случаев управляемых метрополиями. Таким образом, мы можем утверждать, что британские поселения в Новом Свете, как и греческие колонии задолго до них, существовали в качестве частично независимых политически (и, вполне возможно, культурно) сообществ. Таким образом, каждая колония являлась тем, что Кант позже назовет civitas hybridal («гибриднымсообществом»*).*

Степени различия между либеральной британской и деспотической французской и испанской манерами управления колониями (зачастую одобряемыми самими французами и испанцами) всё же недостаточно, чтобы раскрыть все сложности взаимоотношений между монархиями Франции и Испании и их владениями в Америке. Изначально Канада осваивалась силами частной компании (пусть и созданной королевским министром). И хотя большинство успешных испанских конкистадоров впоследствии получили важные посты указами короля, начинали они как самостоятельные деятели.

128

Lords of all the World

«Их величества», как замечает официальный историк Ост-Индии Гонсало Фернандес де Овьедо, «редко когда вкладывали в свои предприятия содержимое своих поместий или кошелька, предпочитая довольствоваться бумагами и ободряющими речами».9 Один важный регион (нынешняя Венесуэла) даже колонизировался в начале 30-х годов шестнадцатого века на средства компании, финансируемой семьей Вельцеров из Германии. Со временем однако, стало очевидно, что у этих начинаний нет исторической перспективы. Как только был выяснен потенциал обеих Америк в отношении полезных ископаемых и человеческих ресурсов, эти территории попали под власть испанской короны и подверглись эксплуатации, какой никогда не знали британские колонии. Похожая ситуация складывалась во французских владениях в Северной Америке и Карибском бассейне. Развитие колоний за счет частных инвестиций, влекущее за собой независимость от метрополии и контроля церкви, было недолгим. Вслед за финансовым вмешательством метрополий в дела колоний вернулись и все приметы былого политического влияния. Как и испанские колонии, французские территории стали неотъемлемой частью метрополии, если принять во внимание, кто жил и кто управлял этими колониями. В целом, англичане вправе считать, что только их заморские владения сохранили изначальные традиции самоуправления и частного предпринимательства.

Для англичан отличия их сообществ в Америке относительно колоний, созданных католическими монархиями Испании и Франции, были основополагающими с точки зрения развития культурной и, в конечном счете, политической идентичности. Эта идентичность основывалась на базе североамериканской исключительности, оказавшей заметное влияние на концепцию «Явного предначертания», до сих пор определяющего настроения граждан США, и зачастую на противопоставлении политике североамериканских территорий испано- и португалоговорящих республик на юге. Первые британские поселенцы действовали, в их собственном представлении, не просто проявляя собственную волю в стремлении нажить состояние. Они переезжали в Америку не за тем, чтобы завоевывать земли, как их соседи по Новому Свету, но чтобы «возделывать» и «усовершенствовать» их.10 Колонисты покидали родину не для того, чтобы установить порядки европейского общества, уже развращенного абсолютистскими (и «континентальными») аппетитами династии Стюартов – они стремились создать новое, более совершенное и, в конечном итоге, республиканское общество. В отличие от французских и испанских колоний, куда переселялись исключительно французы и испанцы, британские поселения, следуя утверждениям Локка, создавались, в буквальном смысле, естественным путем.

Житель Виргинии Ричард Блэнд, бывший по мнению Джефферсона «самым ученым и грамотным человеком, глубоко продвинувшемся в области конституционного права», был абсолютно уверен в правоте этого процесса.

«Когда субъекты лишены своих гражданских прав или недовольны своим положением, занимаемым в обществе», писал Блэнд в 1766 году, «они обладают естественным правом покинуть общество, членами которого они являются, и удалиться в другую страну. Как только люди воспользуются этим правом покинуть свою страну, они восстанавливают свою естественную свободу и независимость; они выходят из-под юрисдикции и управления своего государства;

Metropolis and Colony

И если эти люди объединены и по общему согласию владеют новой страной и образуют политическое сообщество, они создают суверенное государство, независимое от государства, от которого они обособились».11

129

Как и Джефферсон до него (который использовал разновидность того же самого аргумента12), Блэнд выступал против права короля облагать колонии налогом, не допуская их реального представительства в парламенте. Власть метрополии не обладала достаточным авторитетом, чтобы ограничить свободы, приобретенные основателями этих сообществ, осуществившими свое право покинуть Великобританию. «Неужели те, кто сел на судно свободными людьми в Великобритании, сошли на берег рабами в Америке?», задавался вопросом Джеймс Уилсон в 1774 году.

«И отчего те, кто бежал от гнета государственной и министерской тирании, теперь низведены до состояния вассальной зависимости от тех, кто не менее испытал то же угнетение? Какова природа этих роковых перемен? Не послужит ли наше расставание с родиной и близкими, чтобы преодолевать опасности неокультуренной земли, населенной дикими людьми и дикими животными, лишь для усиления доминирования британской короны? Для увеличения объемов торговли британских купцов? Для повышения ренты британских помещиков? Для увеличения заработной платы британских ремесленников? Британцам стоило бы покраснеть от стыда от этих претензий. Американцы будут краснеть от стыда, узнав подобные требования».13

Осознание политических причин волюнтаристского акта независимости Британской Америки, однако, можно легко отделить от одного только вопроса налогообложения.14 Англичане, как писал маркиз де Мирабо в 1750 году, являются «самыми просвещенными в вопросах управления Новым Светом». Хотя он полагал, что конфликт между любовью к свободе и роскоши в конечном счете приведет к их полному краху, лишь англичане, признавал де Мирабо, создавали свои колонии под девизом: «Законы республик, Советов и парламентов».15 По этой причине, лишь они могли надеяться избежать судьбы всех остальных непреобразованных империй Старого Света – коррупции и полного упадка. Не вина Мирабо, что он не мог предвидеть, что как раз то свойство, что Адам Смит описал как «республиканские нравы» английских колонистов, поспособствует окончательному крушению имперского влияния в Америке.16

Великобритания в течение продолжительного времени воспринималась как парадигма современного государства благодаря своей успешной торговле, расчетливости и невозмутимому решению долгосрочных культурных и религиозных проблем. Устройство ее империи, по крайней мере, в глазах ее поклонников (преимущественно, французов) по-настоящему напоминало Ахейский союз в представлении Флетчера. Однако это восприятие претерпело заметные изменения после окончания Семилетней войны и захвата Канады в 1763 году.

130 Lords of all the World

Усиление нетерпимости Великобритании по отношению к своим колониям, настойчивость в введении более высоких налогов и стремление к строгому контролю со стороны правительства метрополии без предоставления квоты мест в парламенте представляло собой усиление «деспотического» начала в стиле управления колониями вполне в духе политики Франции и Испании, осуществляемой по отношению к их зависимым территориям. Как, вопрошал Тюрго английского радикала Ричарда Прайса в марте 1778 года, могла нация, достигшая столь много в изучении естественных наук (к которым он относил и «celle du bonheur publique»), задумать этот «абсурдный проект покорения Америки?»17 Это была (или, по крайней мере, так казалось с противоположных берегов Атлантики и пролива Ла Манш) плохо продуманная попытка создать нечто наподобие «Британской империи» в Америке. Тем не менее, Джон Адамс, будущий второй президент Соединенных Штатов Америки, указал в 1755 году, что подобной концепции не существует ни в естественном, ни в общественном праве. Ее место, как он утверждал, исключительно «в языке газет и политических памфлетов». Адамс настаивал, что выражение

«Имперская корона Великобритании» является отсылкой к Римской империи и содержит намек на прерогативу британской монархии, подобно римскому императору, следовать принципу «Что угодно повелителю, то имеет силу закона», (quod principi placuit legis habet vigorem), столь далекому от концепции двухпалатной парламентской системы. Это выражение также утверждает абсолютную власть монархии, не требующую законодательного участия лордов или общин.18

Великобритания с ее доминионами, по мнению Хэррингтона и Флетчера, никогда не была «империей» в общепринятом значении этого слова – скорее, чем-то вроде конфедерации государств. Американские колонии никогда не были «частью государства Великобритания», что наверняка можно было сказать про испанские и (под вопросом) французские колонии – это были «отдельные, особые доминионы». Вот как это выразил анонимный сотрудник «Журнала Пенсильвании» в марте 1766 года:

«В конфедерации государств, независимых друг от друга, но под единым управлением, как я представляю себе Британскую империю в настоящее время, вся законодательная власть может существовать во всей своей полноте в каждой из частей и, соответственно, быть абсолютно независимой друг от друга».19

Следствием развития колоний, в соответствии с убеждениями Локка, стало то обстоятельство, что колонисты, естественным образом осваивавшие новые земли, не подчинялись своему прежнему начальству. Это означало, что они были свободны в образовании (или отвержении образования) любого типа общества на свой выбор. Либо властью мог быть облечен человек, который предоставил им возможность покинуть ту политическую общность, в которой они родились. Другими словами, это был

Metropolis and Colony

король. Именно он первым предоставил колонистам, выражаясь словами Блэнда, «право покинуть страну и обосноваться в новой», и это была заслуга монархии, а не парламента.20 Первые поселенцы, добавляет Джеймс Уилсон (в 1774 г.), придерживаются того же мнения, вступая во владение страной «именем *короля*»; воюя с индейцами «*его* властью», владея землями «*его* милостью» и выплачивая *ему* ренту. Они создают правительство по *его* Высокому разрешению и повелению.21

Для этих «англоамериканцев» колонии были «независимыми государствами» или, как кое-кто считал, «отдельными странами, независимыми друг от друга, но объединенными под единым правлением».22 Если бы это было на самом деле так, как считал сэр Фрэнсис Бернард, губернатор штата Массачусетс-Бэй в 1774 году, используя всё ту же терминологию Аристотеля и римского права, все британские колонии в Америке можно было бы признать «идеальным государством».23

Окончательное определение статуса Британских колоний в Америке идентично тому, что использовал Франсиско де Витория в 1539 году, чтобы описать отношения между Кастилией, Арагоном и Миланским герцогством, а также характеристикой монархий Кастилии и Португалии, данной Франциско Суаресом на несколько лет позже.24 Для них всех «идеальные взаимоотнощения» также заключались в общей юрисдикции одного правителя, предоставляющего своим субъектам неограниченные права на самоопределение, за исключением права изменять суть своей конституции. Так же и для Бернарда утверждение, что британские «доминионы» в Америке были «идеальным решением», являлось бесспорным. Аналогичным образом различные территории вошли в состав Испанской империи, формально в статусе королевств. Но их взаимоотношения с метрополией не имели ничего общего со статусом Ганновера по отношению к монархической Великобритании. Вышеуказанный момент отмечен автором «Беспристрастного обзора», вышедшего в свет в 1765 году. Жители Ганновера, замечает он, «по-прежнему подчинялись собственным законам под общим надзором и контролем со стороны верховного магистрата в Великобритании и его законных депутатов и заграничных ведомств», таким образом, «относительно парламента и надлежащих налогов все во владениях монарха должны быть в одном положении».25 Для Витории вопрос состоял в том, имеют ли право первые лица подобных государств объявлять войну без одобрения «верховного правительства».Для Бернарда и автора «Беспристрастного обзора»проблема заключалась именно в факте налогообложения без предоставления мест в парламенте. В обоих случаях в обсуждениях затрагивались так называемые «отметки власти». И Витория, и Бернард признавали, что если властители таких государств обладали правами объявления войны или налогообложения, эти права, по сути, даровали им политическую независимость.

132 Lords of all the World

Как в 1765 году прокомментировал Джаред Ингерсол, «отмените право Великобритании на налогообложение, и тогда Америка станет самостоятельным королевством».26

Я, конечно, не предполагаю возможности никаких письменных или формальных взаимоотношений между Виторией и Бернардом. Оба они были воспитаны на понятийном аппарате, восходящем к Аристотелю и римскому праву; оба они желали (по совершенно различным причинам) прийти именно к этим выводам. Бросающаяся в глаза схожесть их аргументов, по всей видимости, демонстрировала силу стремления Великобритании, после 1763 года строящей полностью централизованную империю, пересмотреть отношения с «англоамериканскими» владениями, использовав для этого те же аргументы, что Кастилия в XVI веке, ориентируясь не на американские, а на европейские составные империи.

Стоит также сосредоточить внимание на одном чрезвычайно важном обстоятельстве этих взаимоотношений, которым и Витория, и Бернард уделяют не столь большое внимание: их месте в более широком правовом поле. Из аргументов, используемых Бернардом, Уилсоном и другими, следует, что если право колонистов заселять новые земли даровано исключительно королем, то колонисты облекаются статусом феодальных вассалов, а не свободных граждан, каковыми, собственно, они и прибыли в Америку. И если бы это было так, то отношения североамериканских колонистов и метрополии были бы очень схожими с Францией и Испанией.

Однако в юридической практике условия, при которых колонистам была пожалована земля Америки, заметно варьируются. Несмотря на вечный стереотип британцев о «феодальных» испанских колониях, кастильские монархи не создали в своих заморских владениях ни единого феодального поместья (лена). Печально известная энкомьенда, благодаря которой испанские колонисты получили право собственности на бывшие территории индейцев, коренных жителей Нового Света, имела отношение к их труду, а не к землям. Испанцы не обладали формальным правом собственности и совершенно точно не устанавливали феодальные отношения между колонизаторами и индейцами. Лишь Франция позволяла создание феодальных владений в своих заморских колониях. И даже в ее случае, фактически, это были простые земельные наделы, хотя в их управлении применялись понятия феодальных обязательств. Чтобы быть феодалом, даже не требовалось быть дворянином, и хотя в 1633 году большинство сеньоров были благородного происхождения, к 1763 году большинство уже составляли «простолюдины».27 Стоит заметить, что и Франция, и Испания изначально допускали возможность существования аристократии креольского происхождения. Конституция Каролины авторства Локка и Шефтсбери предполагала внедрение странноватого набора титулов: баронов, ландграфов и кассиков (cassiques). Но ничего из этих начинаний не было претворено в жизнь.28 Как заметили Эдмунд и Уильям Берки в 1757 году, хотя «мало какую форму управления нельзя встретить на наших плантациях… но вряд ли когда-нибудь здесь будет процветать чистая наследственная аристократия».29 Одной из причин, почему это было именно так, являлось то обстоятельство, что американские революционеры обрабатывали и возделывали земли для использования их в целях собственной выгоды, в то время как в английских колониях земли отдавались в пользование для несения трудовой повинности в пользу королевского поместья Ист-Гринвич в Кенте.30

Metropolis and Colony

Они были, как из этого следует, частью королевской вотчины, и ни одна часть Terra Regis не могла помышлять о себе иначе, кроме как о собственности королевской усадьбы. Например, земля в Ирландии могла принадлежать Триму или Лимерику или замку Дублина, но когда Чарльз II передал Бомбей Британской Ост-Индской компании, тот был также пожалован «в свободное и общественное владение с несением повинности» в пользу усадьбы Ист-Гринвич.31 Из-за этой чисто юридической фикции можно было также заявить, что в вопросах налогообложения и представительства колонии были неотличимы от любого английского графства. Тем не менее, если бы это было так, то колонисты должны были пользоваться всеми правами, которыми пользовались англичане. «Что такого сделали эти обитатели Ист-Гринвича», саркастически вопрошал Бенджамин Франклин, «более других жителей Кента, ограниченных в возможностях производства и торговли?»32

Миф, гласящий, что «Новая Англия – тоже Англия», был одной из причин, почему те, кто был готов отстаивать эту полуфеодальную зависимость колонии от короля, а не от парламента, одинаково не желали признать, что колонисты просто приобрели свои земли у коренных жителей Америки. Ибо, если можно доказать, что колонисты, по сути, приобрели свои земли, как любой европеец мог бы поступить в Европе, то они вряд ли могут претендовать на владение ими не принимая во внимание парламент Великобритании. Вот почему такой, казалось бы, не подходящий на эту роль человек, как Томас Джефферсон, был готов поспорить, что "англо-американцы» получили право на самоопределение путем захвата земель:

133

«Их кровь была пролита во время приобретения земли для ее освоения; и их судьбы приносятся в жертву, чтобы эти колонии существовали; для себя они сражались, для себя они завоевали, и только они имеют право на владение землей».34

Как заметил Вильям Стрэхэн, переводчик и автор комментариев к работе Жана Дома «Les Loix civiles dans leur ordre nature», в 1722 году: «если американские колонии были частью королевской вотчины, это предполагает великое сходство между ними (британскими колониями) и колониями испанцев и других народов, образованных в этих краях среди поселений индейцев. Милость, оказанная нашим королем, и наделы земли в этой стране для создания поселений и возделывания почвы, по всей видимости, была оказана в подражание милости королей Испании для собственников земли в испанских колониях, на тех же самых условиях и с учетом тех же услуг, которые будут получены. Поэтому, посколько правительство испанских колоний и права собственников земли в них опираются, главным образом, на гражданское и феодальное право, как это можно видеть на примере ученого трактата Солорзано «De Indiarum iure», знание этих законов должно быть полезным также для решения каких-либо разногласий, которые могут возникнуть относительно обязанностей и конфискации имущества и земли в английских колониях». 35

134

Lords of all the World

Джеймс Отис отверг это предложение с комментарием: «Слишком смиренно было бы считать, что британские колонисты не справятся с владением своими землями, а также свободами, без хрупкого опыта испанских и французских колоний’.36

Онако аргументы Стрэхэна не перечеркивались лишь одним заявлением Отиса.37 Полная сила утверждения Локка о том, что человек не находится во власти кого бы то ни было, если он сочтет необходимым покинуть гражданское общество, состояла в том, что колонисты не были обязаны подчиняться какой-либо власти, за исключением той, которой они сами решат. Впрочем, до окончания работы над Декларацией о Независимости лишь немногие были готовы зайти столь далеко. Несмотря на увлечение идеями Локка, большинство влиятельных колонистов были опытными юристами и в целом слишком сильно уважали английское общественное право, чтобы быть полностью удовлетворенными аргументами, основанными исключительно на абстрактных принципах, вытекающих из естественного права. Колонисты могли (на этом настаивали Джон Адамс и другие) выводить свои законы "не от парламента и не из общего права, но от естественного права заключить соглашение с королем в наших хартиях». Но было столь же ясно, что эти хартии были составлены, в первую очередь, в феодальной трактовке и утверждали общее право короля запретить своим подданным покидать королевство, если он так решит: право «ne exeat regno» («приказ о запрете на выезд»).38

Как, по всей видимости, отмечал Стрэхен, эта соответствующая утверждению Локка видоизмененная форма верности далекому королю, была очень близка с юридической точки зрения одной из форм феодальной зависимости. Ибо если монарх был единственным источником власти для первоначального основания колоний, и если легитимность следует искать в исторических корнях колонии, то ничего не стояло между поселенцами и «доброй волей» короля. Трактовка Стрэхеном работ Дома внушала еще большие опасения в связи с тем фактом, что он видел феодальную основу в истории основания колоний. Для многих англичан во время кризиса, связанного с актом о гербовом сборе, это была важная претензия, направленная к американским колонистам. Ответ Отиса состоял в том, что испанские и французские колонии не просто были созданы на основе (в случае с Испанией) власти, предоставленной римскими папами, которые «на протяжении веков узурпировали наиотвратительнейшую власть над правителями»; но Рим также последовательно стремился с помощью принимаемых законов и союзных монархий прибрать их (колонии) к рукам. Колонии Великобритании в Америке, напротив, несмотря на их номинальную зависимость от поместья Ист-Гринвич, всегда работали над созданием своего собственного законодательства, поскольку практически каждая хартия колонии содержала пункт о «свободе принятия меж собой таких законов, которые будут уместны»39 - что может обоснованно толковаться как отрицание каких-либо феодальных обязательств перед английским королем, сохранившихся

Metropolis and Colony

со времен образования американских колоний. Джон Кэмпбелл писал в 1755 году: ‘"Колонии на самом деле во многих случаях действовали, словно множество независимых государств, в соответствии с их хартиями, а не как провинции единой империи».40

Законодательная автономия британских колоний в Америке, действительно, резко контрастирует с географически близкими юридическими отношениями, которые существовали между метрополиями Франции и Испании и их колониями вплоть до конца восемнадцатого века. Конституция Каролины Локка-Шефтсбери (пускай это хартия государства, которое бы сильно отличалось от тогдашней Великобритании) это самое близкое к своду законов, принятых в метрополии, законодательство, ставящее задачу определить структуру колониального общества. Хотя это начинание и не было реализовано. В 1799 году Джеймс Мэдисон, протестуя против попытки создать свод законов, призванный объединить все бывшие колонии в рамках созданных Соединенных Штатов, отметил, что:

 «какого бы мнения не придерживаться – привезли ли законы с собой первые колонисты, или же обрели современное право путем адаптации к новым условиям, одно несомненно, что это было отдельное законодательство каждой колонии в пределах своих границ, и что был им неизвестен всеохватный закон, распространяющийся на единое общество».

.Таким образом, заключает он, ни в каких двух случайно выбранных колониях не было общего законодательства; «не было и единого законодательного органа, с помощью которого общая воля могла быть выражена в форме закона ", и не может быть никакого возможного закона, который действовал бы как выражение воли всей империи, из чего следует, что:

«Утверждение Великобритании в ее власти издавать законы для других членов империи во всех возможных случаях завершилось с открытием, что она ни при каких бы то ни было обстоятельствах не имела права диктовать эти законы.41

В связи с этой точкой зрения получило широкое распространение мнение (на нем настаивал Джон Адамс), что юридически Британская империя не существует вовсе. Власть, которой обладала каждая колония, позволяющая создать собственное законодательство, также определяла характер взаимоотношений с метрополией. «Различные сообщества, формирующие империю», разъяснял Ричард Прайс в 1776 году, «не обладают связями, которые производят необходимое возвратно-поступательное движение между их интересами». А поскольку «все законы, регламентирующие конкретные ситуации или правила, приняты при общем согласии, для получения защиты и безопасности", они не могли, по определению, служить кому-то еще, кроме как их бенефициарам. На вопрос: "Нет ли причин, по которым государство может иметь законную власть над другим, пусть и не объединенным путем какого-либо адекватного представительства?» он однозначно отвечал, что «таких причин нет».42 Человек, который вынужден жить по законам других, никто иной как раб. Прайс заявляет: «В любом случае

136

Lords of all the World

ограничивания самоуправления отчетливо проявляются элементы навязывания рабства. И я не думаю, что можно сформулировать более точно соотношение свободы и рабства.43

Таким образом, то единственное, что связывало англоамериканцев и Великобританию, было ни сводом законов, ни набором обязательств, феодальных или иных, а общей преданностью своему монарху.44 Ибо, если британские колонисты, с учетом всех вышеизложенных аргументов, были по-настоящему независимые юридически лица, владеющие правами на собственность благодаря собственным действиям первоначально по соизволению короля, теперь исторически удаленного, тогда отношения между колониями (такие, как существовали в действительности) и отношения каждого члена колонии к власти метрополии основывались на чисто личном долге к монарху, Тогда, как заявил Джеймс Отис в 1764 году, правильным способом понять отношения между колонией и метрополией был, как понимал его Фукидид и Гроций, как отношения, основанные не на правовой концепции колонистов, имеющих гораздо меньше налоговых обязательств, но и с расчетом на их "благоговение к городу, откуда они родом".45 Почтение, естественно, предполагало высокий уровень уважения к метрополии. Возмущение, которое так явно сквозило в революционной беллетристике Британской Америки, подпитывалось тем смыслом, что акт о гербовом сборе, а также любая попытка колонистов отрицать свою законодательную независимость, их право на правду и действительное представительство в законодательных органах, нарушает образ Британской империи, как современную версию Ахейского союза – коллектив свободных государств, взаимодействующих согласно воле всех его членов. Это также нарушало глубоко укоренившееся в обществе чувство, что все субъекты Его Величества, независимо от того, каковы были характер и происхождение их подчинения, несмотря на язык феодальных отношений, на котором до сих пор выражались эти взаимоотношения даже в конце восемнадцатого века, являются свободными и равными людьми.

II

Правовые структуры и Испанской, и Французской империй были, в большинстве существенных случаев, совершенно иными, чем в Великобритании. Французские монархи, начиная с Генриха IV, создавали правовой статус своих колоний, в какой-то мере копируя опыт Испании в этом вопросе. Однако Канада изначально заселялась на основах федеративности, чего испанская корона явно и старательно избегала. И в административной практике относительно небольших и изолированных поселений, из которых состояла колония, в значительной степени использовалась практика переговоров между министрами-представителями короны и поселенцами.46  Все заморские колонии Франции, пусть они и не всегда носили это наименование, в правовом плане чаще всего управлялись метрополией таким образом, который позволил юристу Полю-Ульриху Дюбиссону объявить в 1785 году: «Провинции французского королества: Нормандия, Бретань и Гвинея».47

137

Metropolis and Colony

Объединение всех жителей колоний под сенью короны Франции, и управление ими на основе местного административного законодательства под названием *coutume de Paris* (сравнимого по своей долгосрочной значимости с включением Северной и Южной Америк в состав короны Кастилии) определяло идеологическую форму империи вплоть до момента крушения монархии.48 И, поскольку предполагаемое равенство предоставлялось всем членам Испанской империи, этот страх непрестанно преследовал правительство в годы упадка. Группа французских колоний под названием «Народ Сан-Доминго», сообщил Национальному собранию в 1792 году, что она «составляет часть французских граждан, находящихся под властью Французской империи». Тем самым они указали, опасаясь влияния уже действующих на Собрании аболиционистов, что колонии были неотъемлемой частью империи, являясь не собственностью Национального Собрания, но «собственностью Франции, а ни короны, и они не могут быть переданы никакой власти ".49

В Испании монархия всегда гораздо более тесно связывала римское право с концепцией империи, чем любой из его европейских конкурентов. Франсиско де Витория и сэр Фрэнсис Бернард основывались на аристотелевском понятии «идеальных государств», чтобы описать состояние различных частей своих империй. Но в то время как для Бернарда понятие "верховного правителя", объединяющее Британскую империю, служило удобной юридической фикцией, для Витории «Королем законодательной власти» был император Священной Римской империи. В то время как Бернард был склонен мыслить в терминах местных соглашений между отдельными монархиями, регулируемыми законодательством стран (*ius gentium),* Витория обладал (пусть и не разделял) более широким представлением об империи как воплощении права (ius) или, на языке римского права, который был принят в средневековой германской империи, общественного права (ius Publicum)*.* В отличие от Британской империи, испанская монархия насаждала единый свод законов от Нидерландов до Чили. «Ваше величество», писал драматург Лопе де Вега, вторя эхом современникам, «владеет империей под неразделенной юрисдикцией между этим и другим полушариями».50 Под эгидой этой империи, ее законодательство и учреждения, которые защищали представителей короля в Кастилии, так же защищали их в Перу. Население Испанской Америки было знакомо с девизом "Свободы, неприкосновенность, привилегии и свобода своих обычаев в пределах своих провинций» (некоторые из положений, взятых из Мэрилендской Ассамблеи 1648 года51), не хуже любого жителя Кастилии. Принципиальная разница между испанской и английской Америками состояла в том, что в «королевствах Индий», принадлежащих Иберийскому полуострову, эти привилегии являлись уступками, а не правами.52 И они были введены в Европе, а не Америке.

Среди трех колониальных держав Европы Испания являлась единственной империей с однородным составом (или, по крайней мере, стремилась к этому), а также была единственной державой, разработавшей обширный свод законов для колоний, которые в то же время стремились определить свои отношения с метрополией: «Новые законы королевств Индий» (Nueva Recopiladon de leyes de los reynos de las Indias) были обнародованы в 1680 году.53

138

Lords of all the World

Как заявил Хуан де Солорцано и Перейра, занимавшийся новым сводом законов, удаленные империи могли выжить только при условии разумных местных правителей — возможность, которую, как он замечает, рассмотрел и отверг еще Цицерон, либо на основе твердого и надежного свода законов. Римские императоры понимали это, в связи с чем он заявлял, что указы (*cedulas*) кастильских королей были должны рассматриваться как «предписания и письма римских императоров, откуда произошло много текстов и даже целые параграфы в общем праве». И так же как corpus juris civilis (свод римского гражданского права) был принят для общего блага (salus publici) римских народов, так и leyes de Indias (созданный на основе юстиниановых дигестов, Digest) был призван обеспечить salus publici для населения Латинской Америки.54 Эта близкая правовая связь между метрополией и колониями превратилась со временем в источник острого конфликта между населением колоний (креолами) и Мадридом. Симон Боливар, «освободитель»’ большинства территорий Центральной и Южной Америк, сказал будущим законодателям Венесуэлы в 1819 году: «мы всегда вели пассивное существование, наша политическая жизнь равнялась нулю. Мы были исторгнуты из Вселенной, отсутствовали в ней».55 Британцы также относили общую неудачу, как они это воспринимали, испанских колоний совершить впечатляющий социальный или экономический прогресс на счет попытки испанцев, словами сэра Джосии Чайлда, «следовать той же политике и управлению гражданскими и церковными делами на своих плантациях, как и на своей родине».56 С этим был не согласен Кампоманес, считавший, что Чайлд, будучи правым теоретически, не хотел признать, что правовая однородность империи редко соблюдается на практике, что от законодательной автономии испанские колонии отказались, и что, в конце концов, существующая автономия позволяла им конкурировать со своими северными соседями.57

В соответствии с желаемым имиджем своей законодательной идентичности Испания также являлась единственной европейской державой, создавшей развитое имперское управление. Представительные органы государственной власти, действующие на Иберийском полуострове (кастильские суды и арагонские суды под названием «кортесы») никогда не функционировали ни в каком виде в Америке. Нет оснований предполагать, что такие органы местного самоуправления, как *ayuntamientos*, *audiencias* и *cabildos,* могли обладать какой-либо независимой законодательной властью. Каждый имел право обратиться с апелляцией в местные королевские суды, *audiencias*, даже минуя инстанцию в лице самого вице-короля (это касалось и коренных американцев, которые быстро переняли обычаи своих господ и уже к концу шестнадцатого века печально прославились не только ленью, похотливостью и идолопоклонством, но и любовью к судебным тяжбам). Каждый чиновник по окончанию срока своих полномочий подвергался допросу под названием Residencia, который давал всем жителям колонии возможность озвучить свои претензии к нему. Вся информация отправлялась в Мадрид и в Совет Индий. Становится очевидно, что хартии, определяющие жизнь Британских колоний под девизом «Свобода принятия меж собой таких законов, которые будут уместны»,

Metropolis and Colony

 были бы немыслимы в любой части Испанской империи после 1521 года, в связи с тем, что любая независимая законодательная деятельность, в той или иной степени направленная на благо Американских колоний, рассматривалась бы не как благо для Кастилии.

Вместо этого каждый из различных секторов империи управлялся из Мадрида отдельным советом, каждый из которых имел равную власть перед Королевским Советом. Ничего похожего не наблюдалось в Великобритании или Франции, где колонии изначально рассматривались как самоуправляемые образования, а во втором случае имели те же юридические полномочия, что и Париж. Тем не менее ни кто иной, как Чарльз Давенант, один из наиболее яростных критиков испанской экспансии, зашел достаточно далеко, чтобы рекомендовать «учреждение, что-то наподобие того в Испании, что мы называем Совет Индий» к созданию в Великобритании. И, если это показалось любопытным примером служения народу Великобритании, в особенности, с учетом последней декады семнадцатого века, он продолжает: «кто бы ни подверг изучению законы и политические институты Испании, он сочтет их разумно образованными и созданными с таким мастерством и мудростью, как, возможно, нигде в мире более». То, что, по его мнению, фунционировало неправильно, стало следствием «неверной и болезненной проекции, а также от небрежных и неприлежных в своих обязанностях членов советов», и это конечно, связывалось с испанскими религиозными убеждениями и отсутствием свободы, от которой страдали все католические монархии.58

Соборная система отражала (что, возможно, не смог осмыслить Давенант) особое строение Испанской империи. Центром институционального и юридического аппарата империи являлся сам король, чья законодательная власть была абсолютной. Знаменитая фраза римского юриста Домиция Ульпиана «Что угодно повелителю, то имеет силу закона *(Quod principi placuit legis habet vigorem),*59 которую одобряли все испанские монархи, определяла не только законодательное право; она также описывала взаимотношения, и в контексте этих взаимоотношений монарха с его подданными народами объединяла его юридическая персона, его *persona ficta.* «Краеугольный камень испанской юриспруденции по отношению к Америке», писал шотландский историк Уильям Робертсон, «закрепить понимание того, что всё, что добывается и приобретается в колонии, принадлежит короне»60 Именно это обстоятельство заставило кастильских монархов управлять Америкой с помощью арагонского института власти – вице-королевства, которое первоначально применялось для поддержания иллюзии одновременного присутствия короля и в Арагоне, и в Неаполе. В Америке, как и в Неаполе, правовой представитель короля был на всеобщем обозрении. Когда скончался Карл V, его похороны были организованы (в комплекте с пустым катафалком) в каждом вице-королевстве империи, а вице-король при этом исполнял роль Филиппа II. Тщательно продуманные торжественные церемонии были призваны подчеркнуть преемственность между вице-королем и римскими консулами, а также поддержать постоянно понижающийся статус конкистадоров, которые должны были по замыслу приветствовать каждого нового эмиссара.

139

140 Lords of all the World

Даже Адам Смит отмечал с некоторым отвращением размер сумм, потраченных на эти мероприятия «Такие обряды – не просто реальные налоги, уплачиваемые богатыми колонистами на эти конкретные случаи, они вводят среди них привычки суеты и дороговизны на все другие случаи ", писал он, «таким образом, смысл в них отсутствует полностью с политической точки зрения».62 Когда сын Эрнана Кортеса, Мартин, маркиз де ла Вале де Оахака, взбунтовался в 1565—8 годах, его первым действием стал марш на лошади в окрестностях города Мехико с королевским штандартом, и утверждение ордена с собственным ликом на одной стороне и королем Филиппом на обороте. Для вице-короля эти действия не содержали загадок. Кортес был намерен присвоить статус королевской персоны себе. «Полная фиеста», как с едкостью описали судьи действо во время судебного разбирательства, «была призвана утвердить маркиза в статусе короля этой земли».63 Очень важно сказать, что ничего подобного не происходило и не могло происходить ни в Французской, ни в Британской Америке.

Подобные действия были тем, что Джудит Шкляр как-то назвала (пусть она и описывала процедуру демократических выборов) «косвенными ритуалами», риуталами, которые служат для «легитимизации и ограничения чиновников и политиков», но которые имеют и действительные политические последствия.64 Воображаемая концепция, которая опирается на эти ритуалы, и которой придерживались различные политические сообщества в рамках испанской монархии, была выражена следующими словами Хуана де Солорцано и Перейры: «Королевства должны управляться так, словно бы король, который властвует над всеми, был бы королем лишь для любого одного из них»65 Солорцано имел в виду Америку, но это многозначительное замечание было взято, слово в слово, из дискуссии об итальянских доминионах Кастильской короны миланца Камилло Борелло.66 То же самое утверждение было высказано, слегка в иной форме, Сото и Суаресом и относилось к монархии в целом.67 Для всех этих авторов это был не просто призыв к монарху уважать местные обычаи, (хотя и это было заложено в нем) - это было подтверждение различия между монархом как реальным человеком и его юридическим лицом. Оно также указывало на еще один факт, что должно было стать важнейшим выводом для второй половины восемнадцатого века. В мультикультурном обществе, все члены которого обладают одинаковым правовым статусом перед лицом монарха, единственным различием между королевскими поданными становилось место их рождения. Утверждение Солорцано о том, что король должен относиться к каждому из своих доменов так, как если бы он был правителем только его одного и более никого другого, может считаться аргументом в вопросе о праве устанавливать церковные доходы (аргумент, который в различных формах, должен был иметь значительные последствия среди креольской элиты в восемнадцатом веке). «Коренным жителям», заявлял он, должно отдаваться предпочтение, не только потому что это всегда было в обычаях Иберийского полуострова, но и по очевидной причине, что «это потомки тех, кто населял и защищал эти земли, и их кровь, пот и труд должны быть вознаграждены» как в церковных, так и в светских делах. Этот аргумент стал ключевым тезисом для самоопределения испанских колонистов.

Сам Солорцано, в отличие от своих британских читателей, в особенности,

141

Metropolis and Colony

Джеймса Аберкромби,68 по всей видимости, предполагал добиться более широких прав для креолов, не забыв и про себя; он отстаивал их права, стремясь стать ближе к доверенным лицам короля. Стремление к высоким постам сам Солорцано оправдывал «заботой о Республике». Он отрицал это стремление в креолах, и считал их стремление к добродетели недолговечным. Креолы не смогут противостоять лени и пороку, и от этого пострадает всё сообщество. Естественные права креолов, данные им по месту рождения, во всех случаях, однако, сводились лишь к праву действовать на благо монарха в случае такой необходимости. Солорцано нигде не предполагает, что место рождения, персональный доход или участие в завоеваниях, реальных или мнимых, предоставляют подданным монарха какую-либо законодательную власть. Всё, что они дают – лишь более близкую, более интимную зависимость от короны, которую Боливар позже назвал «активной тиранией», по примеру китайских мандаринов.69 И за этой претензией скрывается очень личное, и в этом смысле действительно феодальное видение отношений между сувереном и его субъектами. Именно это давало ощущение повышенной секретности, что в глазах британцев всегда было свойственно континентальной монархии. Джефферсон писал с налетом отвращения, что секретность давала монархам возможность привилегированного доступа к своду законов, возможность, которая по справедливости должна быть доступна всем.70

Не менее легко увидеть схожий язык, основанный на персональной зависимости и с похожим пониманием роли вассала во Франции – мало что было настолько далеко от британской концепции взаимоотношений между королем и колониями. И для испанских, и для французских подданных личность монарха была персоной, облеченной властью, создающей и утверждающей законы. Для британцев, особенно после 1688 года, всё было совершенно по-другому. Если изложить это в терминологии фомизма, укоренившейся в Испании (и которой столько активно интересовался Гоббс), монарх Кастилии был облечен и «потенцией» (*potestas*), нисходящей исключительно от Бога, и «возможностью акта» (*auctoritas),*  которая дается судебной власти обществом. В Великобритании они были разделены между королем и парламентом. Заявление американцев, что начало колониям положила концессия, пожалованная королем Англии, может быть представлено таким образом, чтобы устранить все юридические связи между колониями и метрополией. Таким образом, когда Джон Адамс в 1775 году говорил о Британской империи, объединенной в лице английского короля, но не «короля в парламенте», он явно отрицал возможность правосубъектности.71 Мэдисон, обладавший четким представлением о теоретической значимости понятия в римском праве об идеальном сообществе, очень ясно указал на существующие различия. «Фундаментальный принцип революции», писал он, «заключался в том, что колонии в рамках империи координировали свои действия друг с другом и с Великобританией, объединенные общей исполнительной властью, но не объединенные общей законодательной властью»72

И испанцы, и британцы, в конечном итоге, подняли восстания (испанцы последовательно бунтовали на протяжении всего шестнадцатого века) — на том основании, что их монархи соответственно, нарушали

142

Lords of all the World

их представления о том, каким должен быть монарх. Но тесная связь английской короны с 1688 года со своими представительскими учреждениями, концепция «Короля в парламенте", как определение самой монархии, сделали невозможным для англичан апеллировать непосредственно к самому королю, без участия окружающих его институтов. Традиционный для Европы девиз бунтарей, подхваченный Идальго и Морелосом в Мексике в 1810 году, «Да здравствует король, долой плохое правительство!» не имел смысла в тех случаях, когда король рассматривался, согласно словам Джефферсона, как «главнокомандующий народа, назначенный в соответствии с законодательством и наделенный определенной властью» и оттого уступающий тому социальному устройству, что он называл «Великий механизм государства» .73

Ill

В отличие от британских и испанских новых земель, французские колонии никогда не искали независимости от своей родины. Задолго до того, как возникли политические или культурные условия, необходимые для поддержания длительного восстания, первая французская заморская империя, обладавшая ими всеми, уже перестала существовать. С заключением Парижского договора 10 февраля 1763 года, который положил конец Семилетней войне, французское присутствие в Америке были сокращено до островов в Карибском море. Наиболее важными из них в политическом и экономическом отношении были Гваделупа и Сан-Доминго. В отличие от Канады, на островах не было коренных жителей, с которыми могли бы интегрироваться колонисты. Эти колонии к середине восемнадцатого века развили экономику, основанную на плантационном хозяйстве, очень похожую на экономику соседних британских островов в том же регионе. И, как и в британских колониях, здесь тоже проживали многочисленные рабы. С 1763 года главная политическая задача колоний заключалась в том, чтобы обеспечить отмену ограничительных законов, регулирующих колониальную торговлю, известных как *L’Exclusif,*74 при этом четко оставаясь в защитных механизмах французской монархии. Когда тринадцать американских колоний восстали в 1776 году, французские поселенцы в Карибском бассейне, как и англичане, были озабочены только лишь тем, какие это событие может повлечь последствия для организации массового восстания рабов, которое, в итоге, произошло в Сан-Доминго в 1793 году.75 Однако, в отличие от англичан, в 1789 году французские поселенцы оказались лицом к лицу с жестокой и радикальной трансформацией политической культуры метрополии, с преобразованиями, которые в ближайшее время принесли угрозу самому их существованию.

Революция, очевидно, ослабила тактическую поддержку колонии, на получение которой она рассчитывала от метрополии. Более значимым для колоний был угроза, исходящая от амбиций членов «Общества друзей чернокожих» (и Робеспьера среди них) стремящихся добиться общего освобождения всех рабов во французских колониях.76 Страх того, что многочисленные освобожденные рабы могли бы сделать со своими бывшими хозяевами, был вполне реальным. Восстания рабов были обычным явлением на протяжении всего восемнадцатого столетия.

Metropolis and Colony

Успех таких восстаний был ограниченным, но в колониях хорошо осознавали, что их шаткое положение зависело от готовности столичной власти предоставить им защиту. Внедрение принципов Французской революции в Америке и движение за освобождение рабов, как утверждал, Пьер Виктор Малуэ, бывший комиссар Сан-Доминго, создавало атмосферу с трудом подавляемой истерии,

«и колонии более не будут существовать в качестве источников торговли и сельского хозяйства. Скорее всего, они будут преобразованы в один огромный арсенал революции, разбоя и пиратства, в которой все злодеи из четырех четвертинок земного шара смогут найти убежище и занятие. Нет сомнений, что позднее это преобразуется в сообщества, чьи правительства будут врагами торговли, судоходства, а также и всей европейской цивилизации. Там население будет успешно преумножаться, благодаря подходящей для них плодородной земле, а мы будем ощущать нездоровый климат жарких тропиков. И с Антильских островов в Мексике и Бразилии, от равнин и гор Нового Света, философия Марата будет править бал со своими догмами, своими факелами и кинжалами.77

В продолжительных и желчных диспутах о способах сохранения французских колоний в Карибском бассейне, проведенных в Национальном Собрании между 1790 и 1792 годами, значительное место заняли споры по поводу моральной, политической и экономической целесообразности рабства. Главной задачей колоний было оставаться, насколько это было возможно, под защитой новой Французской республики, продолжая жить по принципам экономики, основанной на практике, нарушающей политические и этические принципы, на которых был создана республика. Для достижения этой цели колонисты и их сторонники в метрополии обратились к юридическим различиям, которые ввели британские колонисты в Америке, пытаясь установить подобные отношения между собой и метрополией. Начиная с семнадцатого века, английские республиканские писатели настаивают на признании юридического разделения сфер. Джеймс Харрингтон описал эти сферы, как "внутренняя и национальная», с одной стороны, и "иностранная и провинциальная", с другой.78 В соответствии с этим, правовые отношения между колонией и метрополией должны были быть определены сводом законов, которые были бы приняты в метрополии. Они обнимали бы международные отношения, государственную оборону и колониальную торговлю. Все вопросы, касающиеся их самоуправления, должны были быть урегулированы законодательством, принятым от имени непосредственно колонистов. Американские колонии, написал Ричард Блэндом в 1766 году, представляли собой:

четко определенные штаты, независимые от внутреннего правительства оригинального королевства, но единые с ней в вопросах внешней политики и ближайшего и искреннего союзничества в ближайшей и наиболее интимной лиги и дружбе, в соответствии с той же верностью и пользоваться преимуществами взаимного сотрудничества.79

144 Lords of all the World

Как отмечал Бернард Бейлин, интерпретация кризиса 1764-6 годов, связанного с актом о гербовом сборе, как нарушения различия между «внутренней» и «внешней» сферами законодательства (и налогообложения) уверенно встала на британскую повестку дня вкупе с со знаменитым трехчасовым обращением Бенджамина Франклина к Палате общин в феврале 1776 года.80 С тех пор на ней было принято предписывать условия каждой дискуссии о конкурирующих претензиях к законодательной власти, регулирующей отношения между колониями и метрополией.

Однако, и это понимали Франклин и его соратники, существующее различие имело надлежащий правовой смысл только в контексте английского общественного права. Испанцам и французам, чтобы претендовать на такое разделение между сферами правосудия, когда обе сферы были бы признаны определяющими в лице одного правителя, было бы юридически бессмысленным, по крайней мере, ранее 1789 года. Но во Франции понятие абсолютного суверенитета монарха исчезло вместе с революцией. Это сделало возможным для французских колоний и их столичных сторонников, где главный голос принадлежал Антуану Барнаву (что стало началом его пути, приведшего на гильотину) внедрить британские различия между «внутренним» и «внешним» законодательствами, в качестве средства принуждения нового правительства в Париже предоставить им необходимую законодательную свободу, и одновременно чтобы смягчить, а лучше полностью ликвидировать, торговые законы Кольбера и отразить любую попытку ликвидации рабства. Англичане, сообщает Барнав перед Национальным Собранием в 1791 году, обходятся со своими колониями как с «со-государствами с учетом их внутреннего законодательства", в то время как они являются «чистым субъектом» в отношении их внешнего режима (regime exterieur). Если бы они следовали логике этой договоренности, и, следовательно, дали колонистам неотъемлемое право на представительство в парламенте, они владели бы своими колониями по-прежнему. В дальнейшем французы не делали никакой разницы между "этими двумя классами законов, которые никогда не следует путать".81 Но если новая конституционная французская монархия желает сохранить контроль над своими карибскими владениями, которые, как указал депутат Гваделупы Де Курт в 1789 году, приобрели всё и ничего не потеряли с "открытием своих портов для всех торговых держав Европы», то теперь придется признать легитимность колониальных претензий к полноценному представительству в недавно созданном законодательном корпусе (latif national).82 Любые дальнейшие попытки в новой революционной (почти что республиканской Франции) восстановить прежний законодательный порядок могли привести лишь к мятежу, который французский флот был бы не в состоянии контролировать. Даже главный противник Барнава, Бриссо, который бы явно предпочел увидеть конец заморских империй вместе взятых, признавал, что колонисты стали частью революционного процесса, и им не может быть отказано в любой из преимуществ, которыми пользуются жители метрополии.83 Однако проект Барнава, предусматривающий практическую политическую эмансипацию колоний, не содержал намерений предоставить заморским владениям все льготы свободной торговли, которых они желали, поскольку, по его мнению, "законы торговли и обороны", представляли собой часть внешнего управления

145

Metropolis and Colony

колониями.84 Его последняя уступка гласила, что в будущем ни один закон, даже в этой сфере", не должен быть принят законодательным органом, кроме как с учетом предметного, формального и спонтанного желания колоний», что сделало колонии практически независимыми, насколько это предусматривало их собственное законодательство. Как заметил депутат из Нанта «М. Блин» 1 марта 1790 года, при такой организации "колонии в какой-то мере можно сравнить с Ирландией, которая имеет свой законодательный орган и губернатора в звании вице-короля [sic], который является представителем исполнительной власти".85 После этого в 1797 году, когда Франция вообще перестала быть монархией, Пьер-Виктор Малуэ утверждал, что колонии имели естественное право "противостоять собственной погибели," которое обязательно подразумевает "право на независимость по отношению к их внутреннему законодательству, и к режиму своего существования".86 Если подобные действия не были предприняты, колонии, обладавшие жизненно важным значением для экономической и военной жизни страны, несомненно, искали свое собственное решение, как и англичане несколько ранее. "Отвергнутые, словно бастарды, нашей общей Матерью" предупреждал анонимный памфлет «Слово об ухе» (*Un mot a I’oreille),* «они, вполне возможно, вскоре перестанут считать себя детьми».’87

В постреволюционной Франции метафора «Старая мать и дитя», устоявшаяся в описании отношений между колониями и их «родиной-матерью», подразумевала модель семьи в Древнем Риме, которая предоставляла родителям абсолютную власть над своими детьми, не могла более быть устойчивой. Метрополия сама добровольно подала в отставку со своего поста римского патриарха. На ее место пришло общество, регулируемое законами. Как Талейран знал по собственному опыту, все революции создавали на своем пути "общее смятение в мужских умах: потребность в движении».88 То, что произошло во Франции, неизбежно предвосхищало то, что должно позже происходить в колониях. «Запретите колониям любую часть нового законодательства», предупреждал Жан-Франсуа Мерле, депутат Мэна и Луары, «и империя рухнет». Колонии сохраняли лояльность метрополии из-за того, что «интересов, потребности, и прежде всего из-за того, что их сильно связывают узы братства. Но всё это не будет иметь какой-либо ценности, если Генеральное собрание отлучит хоть одного гражданина от права. "Очень важно," писал он, "чтобы Французская революция добилась в колониях того же результата, как и в метрополии».89 Мерле опирался на совершенно новый язык, язык закона как выражение общей воли, «volontegenerate» Руссо. "Закон", пишет Малуэ, размышляя о последствиях революции для колоний, которую он вскоре возненавидел, "является результатом общей воли и сообщества. «В империи с республиканской конституцией", писал другой бывший колониальный чиновник Виктор Колло, "кажется, что политические отношения между метрополией и колониями не должны содержать неравенства, насколько это предусматривают соответствующие права. В попытке переосмыслить правовые взаимоотношения между колониями и метрополией французы обратились к американской переработке английского общественного права.

146

Lords of all the World

Они покончили с республиканским, постреволюционным языком прав и гражданства. И то, что могло сделать карибскую колонию или даже Гурон равными в правовом отношении Бретани, было само по себе, как признавал Мерле, видоизмененными старыми идиомами объединения отдельных граждан. После создания Республики в 1792 году "Французская империя», как она по-прежнему называлась, могла выжить только путем проведения в жизнь до их логичного завершения указов, согласно которым были основаны первые поселения в Канаде в конце шестнадцатого века. Однако теперь, королевские подданные превратились в отстаивающих свои права граждан. Каждая община в колонии поэтому имела возможность преследовать свои собственные независимые интересы, что, в сущности, означало, продвижение своих законов. Народ Франции (по крайней мере, как это виделось с другого берега Атлантики) представлял собой единую нацию с общностью интересов. Тем не менее, было очевидно, что колонии с течением времени приобрели различные интересы и проблемы. Они должны были, извлекая выгоду из революционного процесса, свободно следовать своим собственным способам существования. "Эти люди", писал Малуэ, "чьи законы, чьи обычаи, солнце, климат, потребности, привычки и место жительства, чьи способы получения урожая сделали их отличающимися от вас». По этой причине закон, который «является результатом общей воли и общности интересов, заключает он, «и служит выражением этих различий».91

IV

Значительные различия между европейскими империями в Америке определялись не только контрастными представлениями о правовых полномочиях и природе власти короля, о которой всегда велись диспуты. Они были связаны непосредственно с природой политических культур метрополий. Британская империя в Америке, по крайней мере, до начала Семилетней войны с Францией в 1756 году, опиралась на представление о короле как об удаленном благодетеле, а не судье. Степень контроля, осуществляемого над колониями, была, следовательно, относительно невысока. Пока колонисты оставались лояльны короне, пока они служили, в некотором роде, финансовым и политическим целям мегаполиса, они беспрепятственно покидали Старый Свет, преследуя свои собственные цели. Многие историки отмечают тот парадоксальный факт, что жители тринадцати колоний в значительной степени продолжали осознавать себя как англичан, пока поведение короля и правящей верхушки (в сочетании с развитием интеллектуальной мысли в колониях), говоря словами Эдмунда Берка "Авгурийское злоупотребление властью видно на растоянии, и происки тирании ощущаются в каждом зловонном ветре"- вынудили их искать самобытности, а также политической идентификации.92 Их уважение к монарху в годы, предшествующие кризису, связанному с актом о гербовом сборе,



*Metropolis and Colony* 147

как правило, было больше, чем у коренных британцев; возможно, считал Дэвид Юм, из-за незнания истинной природы королевской власти. Если относительно свободное и «либеральное» правительство Британских колоний, очевидно, поощряло высокую степень культурной зависимости от метрополии, во французской и испанской Америках всё было наоборот. И испанские креолы и французские колонии, похоже, стремились создать ощущение принадлежности к независимому культурному миру задолго до того, как пришли к мысли об обязательной независимости. Тем не менее, и французская, и испанская монархии пытались с самого начала использовать культурное убеждение как средство обеспечения постоянной лояльности населения своих колоний и, что наиболее важно в случае с Испанией, коренных народов, подвергнувшихся колонизации. С точки зрения Бенжамена Констана, это предложение метрополией ограничить независимое культурное выражение своих подданных – именно то, что отличает современность от раннего империализма. В то время, как жители древности терпимо относились к различиям в структуре единого закона, и номинальной адгезии по отношению к национальной «гражданской» религии,

Завоеватели наших дней хотят, чтобы их империя представляла торжество единообразия, на котором с гордостью могут остановиться глаза властителя, не встретив шероховатости, которые могли бы оскорбить или ограничить свою точку зрения. Одни и те же своды законов, меры, действующие правила, и, если бы постепенно можно было добиться и этого, и один и тот же язык – вот то, что провозглашено совершенной формой социальной организации.94

Констан говорил о наполеоновской империи, но его описание «С заменой того, что подлежит замене», mutatis mutandis, соответствует тому образу, который использовало большинство обозревателей, как враждебно, так и дружественно настроенных, для характеристики испанцев и, в меньшей степени, французов на протяжении для большей части истории. Как Кант заключил в 1795 году, истинная сплоченность, к которому любое государство, независимо от его размера или амбиций, должно прийти, в конце концов, должна основываться не на богатстве или военной мощи, но на языке и религии, или, выражаясь более общими понятиями, культуре.95 Для Канта культура является тем средством, с помощью которого независимые государства помешали бы любой державе создать режим «универсального деспотизма». Обратное в равной степени верно. Как предупреждал своих читателей Чарльз Давенант в конце семнадцатого века, тип империи, которым была Испания (и, по его мнению, очень скоро станет Франция), может поддерживаться только за счет очень высокого уровня культурной тирании. «Кабала», писал он, «в которую попадают наши тела при режиме подобных монархий, ничто в сравнении с кабалой наших умов».96 Без учета традиций, который может быть достигнут лишь путем манипуляций с культурными и религиозными национальными системами, законы государства не будут эффективными, и не существует силы для обеспечения их выполнения; и в мире, предшествующем современному, такие власти при всей их жестокости были крайне ограничены». Король Испании, как заметил бенедиктинец Хуан де Салазар в 1619 году,

148 *Lords of all the World*

обладал тремя способами властвования над своими подданными: «властью над телами, властью над имуществом и властью над умами (entendimientos)’ 91 И последняя из перечисленных всегда оставалась наиболее эффективной.

В работе «Della Ragion di Stato» («О причинах государства») 1589 года Джованни Ботеро объяснял, что подлинной «монархии» со временем требуются единый язык, «как это было у римлян, арабов и норманнов», единая валюта и единый свод обычаев. В этом, и только в этом случае, доказывал он, “субъекты, обретенные путем завоевания, могут сравняться с естественными субъектами».98 С точки зрения Ботеро, наилучшим примером успеха подобной стратегии может служить корпус янычар. Не турки и не мусульмане по происхождению, они воспитывались в духе как римской императорской гвардии, чтобы быть наиболее преданными войсками султана. Непонимание того, что можно было создавать и поддерживать расширяющиеся империи с помощью таких ресурсов, стоила французам сначала Сицилии, а позднее Неаполя и Милана, англичанам – Франции, а византийцам – Константинополя. Ибо никому из этих народов, заключает Ботеро, не было известно, как "управлять ими так, чтобы они почувствовали, что интересы государства были их собственными.99

Сами испанцы, в целом, вполне осознавали силу таких аргументов. В 1570 году гуманист Бенито Ариас Монтано, библиотекарь, архивариус и коллекционер книг для Филиппа II, призвал герцога Альбу создать кафедру испанского языка в университете Левена, ибо, писал он, «после вопроса о религии, нет ничего, что так примиряет сердца людей из разных стран, нежели единство и соответствие языка ». Это, считал он, "является одним из основных достижением римлян, позволяющим утвердить свою империю в мире и примирить людей всех наций'.100

Поскольку мнимый правитель мира должен преобразовать обычаи и веру народов, над которыми он хочет править, он должен создать новую однородную общность знаний. Лучшим средством для достижения этой цели, как давно уже четко осознавал Ливий, всегда была религия. Римское благочестие было мобилизовано для поддержания стабильности империи. Древние, замечает испанец Хуан Фернандес де Медрано всегда «ставили (религию и любовь к стране) на один уровень».101 Если это возможно, советовал Томмазо Кампанелла, монарх должен создавать новую религию. Именно это сделал Мухаммед, а до него – Ромул и Пифагор. Это также принесло удачу Карлу Великому, и очевидно, было целью как Генриха VIII Английского, так и покровителя Лютера Фридриха Саксонского.102 У монарха Кастилии не было такой возможности. Но ему следует, настаивал Кампанелла, навязать жесткую ортодоксальность во всех его сферах, которая определяла бы и его самого, и его власть, и вместе с тем Церковь. ,Как формулировал современник Кампанеллы Диего Сааведра в своей работе «Idea de un printipe politico-cristiano» («Идея политически-христианского правителя») в 1639 году, слишком большой объем свободной мыслительной рефлексии может привести к «разнообразию сект, что ведет к распаду империй».

*Metropolis and Colony*

Он советовал своим правителям увеличить количество стратегов и военных тактиков, и уменьшить количество ученых. Испанский "фанатизм" такого рода, о котором так часто отзывались английские и французские критики в том смысле, что именно он окончательно погубил империю, проявился по отношению к тем лицам, кто должен был бы стать основным инструментом правительства.

V

Как и испанцы, французы создавали свои первые колонии с явным, легко улавливаемым намерением создать единое культурно, а также юридически и (однозначно в случае Франции) расово, сообщество. В соответствии с условиями создания Compagnie de Cien Associes, и французские поселенцы, и их потомки, и те коренные американцы, которые пришли к пониманию веры и сделали ее своей профессией, считались гражданами Франции и имели право жить во Франции, когда они пожелают.104 После 1663 года, когда Вест-Индская компания стала отвечать за колонии в Канаде, Аркадии, Ньюфаунленде и Вест-Индии, стали поощряться браки между французскими колонистами и коренными американцами. Хотя Кольбер описывал ирокезов как «истинных дикарей, не имеющих ничего человеческого, за исключением проявлений мужского начала», он также говорил в этом же документе без видимого противоречия и в этом же документе, о настоятельной необходимости "обязать дикарей селиться среди нас, и [познавать] наши обычаи и наш язык.105 Основание Вест-Индской компании по инициативе Кольбера даровало всем иммигрантам в Америке «те же свободы и привилегии, которыми они обладали, проживая в нашем королевстве». Еще более поразительные привилегии даровал *Acte pour I’etahlissement de la compagnie des cien associes:*

«те, кто рожден от [колонистов] и дикари, которые перешли в католическую апостольскую и романскую веру, должны быть зарегистрированы и считаться жителями и уроженцами Франции, и, таким образом, иметь право на все права наследования, хороших законов и других постановлений, без иных обязанностей, связанных с натурализацией.106

Это была надежда, что французским заморским колониям может быть как-то удастся преодолеть напасти, постигшие испанцев, избежав при этом чрезмерно либеральной колониальной политики, проводимой англичанами. В 1757 году под руководством Антуана де Бугенвиля, будущего первооткрывателя Таити, был реализован план

150 *Lords of all the World*

расселения французов и американских индейцев в Иллинойсе, который, как он надеялся, будет воплощен "в соответствии с тем, как некогда фунционировала знаменитая система спартанской республики».107 Проект «офранцуживания» Кольбера был запущен отчасти потому, что он считал, что значительное увеличение населения американских колоний было необходимо, чтобы выжить в условиях английского враждебного соседства, а также потому, что Кольбер считал, что эта цель более легкодостижима по сравнению с массовым переселением.108 Также существовало намерение Людовика XIV расширить проект на Канаду и Карибы, чтобы «etat unifie ", объединить речь, обычаи, религию, короля, и в этом случае, кровь. Многим европейцам позднее этот проект напомнил государство-преемника «всемирной монархии» Габсбургов. Испанцы, чье коренное население родной вошло в историографию империи как люди благородного происхождения, или, на худой конец, воины, рассматривались, по крайней мере, на первых порах, в качестве потенциальных брачных партнеров, хотя корона ничего не предприняла для поощрения таких союзов. Некоторые личности из числа конкистадоров даже пытались наладить связи с представителями, как они считали, родственной знати. Брат Франциско Писарро, Гонсало в ходе мятежа против короля, заявил, что он женится на принцессе инков и станет таким образом королем Перу.109 Гонсало был убит, прежде чем смог воплотить в жизнь свой сценарий династического альянса. Подобные случаи, однако, были редки, и альянсы с индейской аристократией в восемнадцатом веке были чем-то вроде метафоры. Испанцы-колонисты сохраняли максимально возможное расстояние до истинных креолов, подвергнувшихся мифологизации "ацтеков" и "инков", мрачных метисов из низшего класса и всё еще автономных индейских народов. Несмотря на то, что расовая интеграция в Латинской Америке должна была привести к появлению совершенно новых народов с отличительными культурными особенностями и, в конечном счете, с самостоятельными политическими устремлениями, она не играла никакой роли в концепции короны империи как единого культурного и политического устройства. Англичане, убежденные в своей миссии «одомашнить пустыню без какого-либо наряда" в Америке, сочли перспективу браков с коренными американцами ужасной. Как отмечал сэр Джосия Чайлд в 1665 году, испанцы выиграли от того, что селились в областях, где уже существовали города и плантации и где имелось коренное население, с которым они могли бы скрещиваться, тогда как англичане имели дело лишь с "дикими язычниками, с которыми они не могли скрещиваться, и никогда о таких случаях не было известно».111 История Покохонтас и Джона Смита была во многом так исключительна, именно потому, что ее невозможно было представить для большинства английских поселенцев в Америке.

Из всех европейских держав только Франция предпринимала инициативу по смешению расового состава своих колоний. Как это ни парадоксально, Канада была и остается наиболее четко разделенной между ее коренным населением и поселенцами, по сравнению с любым другим американским сообществом. Долгосрочный эффект проекта Кольбера проявился, как Мирабо язвительно отметил в 1758 году, в том, что

*Metropolis and Colony*

«вместо «офранцуживания» дикарей, произошло одичание французов", что вызвало, по его мнению, «их отказ подчинению субординации, которая является душой всех колоний'.112 Неудивительно, что, когда Франсуа Волни, один из наиболее проницательных наблюдателей за ходом колонизации, посетил область в 1797 году он нашел ее в значительной степени заселенной "французами времен Людовика XIV, которые стали наполовину индейцами пополам с англичанами последнего столетия».113

151

Однако, несмотря на то, что проект смешанных браков был признан потерпевшим неудачу в Америке, он был снова извлечен на свет в Тихом океане. Здесь, как казалось, возникла возможность для нового вида колонизации, которая пойдет на пользу в равной степени колонизатору и колонизируемому. В «Histoire des navigations aux Terres australes» Шарль де Бросс (1756 год) вызывал в воображении образ новой Америки в Южном полушарии с народами, аналогичными по культуре и обычаям к тем народам, кого застал Колумб и его преемники, но которые уже исчезли с лица Земли. уничтожены. Де Бросс писал:

«Но представим себе будущее, которое вовсе не таково, что Христофор Колумб обеспечил для наших соседей… их пример будет наставлять нас. Ибо мы избежали бы двух пороков, от которых пострадали испанцы: алчности и жестокости. Наши предшественники опустошили свою страну в поисках иллюзорного счастья, которого невозможно достичь. Последователи, обуреваемые национальной гордостью и предрассудками, обладали всем, но уничтожили человеческую расу в Америке. Они презрительно устраивали резню, как если бы они были подлинными людьми, а те – чужеродными животными. Миллионы индейцев могли бы стать настоящими людьми. Но испанцы уничтожили вплоть до последнего человека сотни народов, как будто бы можно получать какую-то прибыль от необитаемых земель.

Опыт, однако, показывает», продолжает он, "что в этих отдаленных широтах необходимо торговать, а не воевать, и что это не вопрос о создании воображаемых королевств за экватором. Вместо новой французской тихоокеанской империи Тихого океана могла бы быть сеть торговых станций, работающих на общее благо всех тех, кто участвует в работе. Мы бы вытащили "дикарей" из "лесов" и "позволили им воспользоваться преимуществами гуманитарных и социальных законов», как это сделали иезуиты в Парагвае. Моделью для всех будущих французских империй», заключает автор, «должны быть не испанцы или римляне, но финикийцы. Ибо они создали не зависимости или колонии, а новые народы, а «что может быть большей целью для властителя?", чем это? 114

Кругосветное путешествие Бугенвиля 1766-1769 годов, и, в частности, мысли, которые высказаны в его «Voyage autour du monde of Tahiti», который он назвал «Новой Цитерой» (La Nouvelle Cythere), казалось, подтверждали фантазии Де Бросса. И именно на это же опирается надежда Дидро

152

*Lords of all the World*

о государстве будущего, основанном на принципах расовой гармонии, которое обеспечило бы всех представителей рода людского счастливым состоянием баланса, как выразился Дидро, "на полпути между дикостью и цивилизованностью».115

Даже в неудаче идеи Кольбера о едином обществе со смешанными генами заключалась неотъемлемая часть собственного имиджа французской империи. Пусть так и не удалась интеграция колонизатора с колонизируемыми, эта попытка позволила приобщить состав населения колоний к культуре метрополии сильнее, чем где-либо в Испанской или Британской Америке. «Французы», с восхищением писали Эдмунд и Уильям Берки в 1757 году, "приняли плантатора как жителя Франции, со всеми невзгодами его жизни, с трудностями, схожими с изгнанием, на благо своей родине. Французы», заключают они же, «единственные из всех колониальных европейских держав Европы извлекли выгоду из смешения людских народов, заселения земли и преимуществ собственной страны благодаря мудрой и эффективной регуляции». 116

VI

«Новая Цитера» оказалась иллюзией: "старые товары прошли, словно новые", язвительно заметил аббат Галиани в 1769 году.117 Таким же оставалось испанское видение единого мирового порядка в рамках единого закона. Неудача европейских колонизаторов в укреплении всеобщей культуры, что успешно удалось римлянам, общемировой гражданственности, стало доказательством того, что в современном мире заморские империи были обречены на быстрое и, как правило, катастрофическое правило, угасание. Со временем колонии, созданные тремя европейскими державами в Новом Свете, утрачивали гармонию с Европой, но, иногда им удавалось добиться собственной культурной, экономической и политической идентичности. В начале восемнадцатого века стало очевидным, что в случае Испании отношение мощи между колонии и мегаполиса не просто изменилось. Оно поменяло направление. "Колонии и Испания – две силы под властью одного хозяина", делится наблюдениями Монтескье в 1748 году, «но королевства Индий главенствуют, а Испания представляет собой ничего более, как придаток». При возросшей экономической и культурной независимости также стало очевидно, что колонии, возможно, в один прекрасный день не только захотят политической автономии, но что они могли бы также, как это видел Бенджамин Франклин, прийти на смену метрополии в качестве политических и экономических центров существующих империй.119 (так действительно произошло в Бразилии, когда португальский двор отбыл в Рио-де-Жанейро в 1808 году). Но было известно не так много примеров из истории древнего мира,

153

*Metropolis and Colony*

, где использовалось бы описание отношений между колониями и метрополией в сравнении с семьей. Гордон Вуд писал: «Этот образ был настолько мощным, так сочетался с личным традиционным миром, в котором всё еще жили колонисты, что почти все имперские дебаты проводились в рамках понятий этого образа». Образ «Родитель-ребенок» также связывался с мощной идеологической традицией в британской политической мысли семнадцатого века: патриархальностью, и, в частности патриархальностью сэра Роберта Филмера. Джон Локк написал «Второй трактат о правительстве», который должен был стать основополагающим документом для североамериканского республиканства, чтобы опровергнуть идеи Филмера (как было принято считать), а в головах сторонников колониальной автономии патриархальность стала ассоциироваться со старинной попыткой английской монархии установления абсолютной, практически, "папской», власти над своими подданными. Это, по-видимому, имел в виду Том Пейн в своем сочинении «Здравый смысл». В 1776 г. он писал, что выражение «родитель» или «родина-мать» было иезуитским способом взято на вооружение королем и его приспешниками, напрасно убежденными в доверчивой слабости наших умов.

Образ родителей, однако, мог также, если игнорировать Филмера, быть использован с выгодой для колонистов. В освобождении из-под власти метрополии и обретении независимости можно усмотреть аналогию с жизненной ситуацией, когда повзрослевшие дети покидают родительский дом. Английские колонии в Америке, пишет Джеймс Харрингтон в 1656 году, когда Британской империи в Америке фактически не существовало, возможно, всё еще "детки, которые не могут жить без груди своей матери – городов», но, заключает он, "вряд ли я ошибусь, если скажу, что по достижению совершеннолетия они смогут позаботиться о себе; и я задаюсь вопросом, как правители решат эту неминуемую распрю».123 «Патриархальность разъяснила ценность семьи для всего человеческого общества, которая воспринимается с того момента, как были определены взаимоотношения с властью и обществом, неизменно с ходом времени. Метафора «мать-ребенок», напротив, может быть понята только в историческом смысле. "Предполагаю, именно поэтому", писал Ричард Прайс в 1776 году,

«закон природы в установлении отношений между родителями и детьми должен был быть правилами нашего поведения с колониями, мы должны были постепенно ослаблять свою власть по мере их взросления».

Великобритания, преследующая собственные имперские интересы, вела себя, по его убеждению, подобно «безумным родителям» и «делала всё наоборот». Вскоре, подобно безумным родителям, он утратила любовь и уважение своих отпрысков.124 С позиций первого десятилетия

154 *Lards of all the World*

девятнадцатого века публицист, советник Симона Боливара, и в прошлом наполеоновский посол Доминик Дюфур де Прадт, пытаясь обобщить процесс колонизации Америки, отметил, что именно из-за того, что англичане не заметили этот переход, они утратили свои колонии. Испанцы, предупреждал он, готовы повторить этот сценарий развития событий. Де Прадт, вслед за Монтескье, указал, что необходимым фактором для зависимости колонии от метрополии является более мощное и развитое общество метрополии относительно любой из ее колоний. Как только это положение вещей меняется, происходит эмансипация колонии во всех аспектах за исключением закона. Станут ли бывшие британские колонии признавать зависимость от британской короны и свое подчиненное состояние, вопрошал Ричард Прайс, когда:

«За 50 или 60 лет они удвоят свое число и образуют могущественную империю, состоящую из множества государств, равных нам или даже превосходящих в искусствах и достижениях, дарящих достоинство и счастье человеческой жизни?126

Политические отношения между Великобританией и ее колониями в Америке всегда были более отстраненными, чем между Францией и Испанией и их американскими владениями. Хотя "королевства Индии» стали культурно независимой с середины семнадцатого века, испанские колонисты продолжали видеть в Европе источник политической легитимации, пока изменение политических условий в метрополии не вынудили их искать пути к независимости в начале девятнадцатого века. Британские колонисты, напротив, с учетом того, что их сообщества были задуманы (иногда от момента основания) как частично независимые, всегда четко осозновали, что именно они самостоятельно должны искать пути собственного благополучия, и что, как следствие, "могущественная империя", которая в 1759 году привиделась Джонатану Мэйхью, Америка, которая может стать однажды «в ряду самых влиятельных европейских держав", может быть сотворена только их собственными силами.127 Несмотря на это сильное чувство политической идентичности, британские американцы сохраняли вплоть до объявления независимости культурную общность с метрополией в гораздо большей степени, чем испанские креолы, и иногда даже сильнее, чем французские колонисты. Ко второй половине восемнадцатого века, однако, как только столичная власть попыталась укрепить связи с колониями, даже англичане обнаружили, что уже нет возможности поддерживать имидж Америки как пересаженную в другую почву, улучшенную и очищенную Англию. Томас Паунэлл свято верил, что

«ограничения возможностей, и степень необходимости каждой из них выражались в потребности необходимых поставок, и все индейские племена объединены *общей потребностью*

*Metropolis and Colony*

совокупности испанских, французских, голландских, датских и британских поселений. Это *естественное состояние* европейских владений в Атлантическом океане и в Америках.128

Но это было написано в 1765 году и уже совершенно напрасно. Год спустя фальшь утверждения, что «ничто не сможет искоренить из своих сердец их естественной, почти механической привязанности к Великобритании, которые они не испытают никогда более, и никогда не назовут ее иным именем, как родиной»129 была слишком явной. Но хоть Паунэлл и был неправ насчет силы этих старинных связей, его настроения отражают веру, разделяемую французами и испанцами в той же степени, что и англичанами, что в политическом и культурном выражении, в конечном счете, только такие связи могли бы объединять мировые империи. Паунэлл также видел, что связь между различными частями любой империи должна основываться не на зависимости от одной из этих частей, а на принципах федерации. Концепция федерации, основывалась на достоинствах отдельно взятого общества с точки зрения выгоды, которую можно получить с помощью всех ее членов. Дискурс также был типичен для понимания империи на протяжении большей части современной истории, как по существу неприемлемых политических институтов, плохо управляемых экономически и административно и по-человечески невыносимых.